

ЕВГЕНИЙ
ЕВТУШЕНКО

стихотворения



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Е27

Оформление переплета и иллюстрация
Анны Рысухиной

Иллюстрация в марке серии: © bsd / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Евтушенко, Евгений Александрович.
Е27 Стихотворения / Евгений Евтушенко. —
Москва : Эксмо, 2023. — 384 с. — (Библиотека
классика).

«Истинный дар Евтушенко — пронизанные не-
красовской музыкой зарисовки с натуры: тягловая
«серединная Россия», кочующая по стране в по-
ездах, на пароходах и пёхом. Наблюдательность и
неистошцимость изумительны!» — писал о просла-
вленном авторе Лев Аннинский. И действительно:
в поэтическом таланте Евтушенко слились мощные
силы — от искусной лирической работы до почти
эпического размаха сюжетных композиций. Зна-
менитый «шестидесятник», до самой смерти со-
биравший полные залы преданных поклонников,
по сей день удивляет громадами своего дара, раз за
разом подтверждая собственные слова о том, что
«настоящее искусство не бывает основано на зле». В
книгу вошли избранные стихотворения Евгения
Евтушенко, отражающие всю многогранную лири-
ку этого автора.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Евтушенко Е.А., наследник, 2023
© Аннинский Л.А.,
предисловие, 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-189860-1

НЕБАЛОВАННЫЙ

В 1964 году один иностранец попал на «концерт Евтушенко в Медицинском институте» и попытался осмыслить увиденное: набитую битком аудиторию, жесты длиннорукого тощего поэта, его сомнамбулический голос и горящий взгляд голубых глаз. Иностранцу хотелось понять, что все это значит. Он записал: «Я его люблю как явление природы».

К середине 60-х годов это явление уже обрисовалось, причем в мировом масштабе. Евтушенко собрал такое количество читателей и слушателей, какое до него в русской поэзии не собирал никто. Включая Пушкина, Маяковского и Есенина, популярность которых, отчасти в силу тогдашних технических возможностей, не достигала таких гомерических размеров, как у этого сибирско-московского шкета, ставшего полпредом то ли стиха, то ли государства, то ли еще чего-то, выходящего вообще за привычные

рамки. Я сам слышал в Болгарии (как раз в том самом 1964 году), как люди, прослышавшие о его приезде, принимали его то ли за циркового борца, то ли за иллюзиониста: знали, что «едет Евтушенко», но не знали (или не хотели показать, что знают), кто он и с чем едет.

Разумеется, это было явление, возможное лишь в эпоху массовых действий и чувств, да еще при том условии, что на Россию (то есть на СССР) полмира смотрело со страхом и ненавистью, полмира — с надеждой и любовью. Учтем и то, что поэзия на какое-то историческое мгновение стала тогда универсальным знаковым языком. Учтем, наконец, и то, что такая ситуация вряд ли когда-нибудь повторится, и сделаем неизбежный вывод, что перед нами случай уникальный.

«Мне повезло... Жизнь подарила мне такую прижизненную славу, которая не выпадала на долю поэтов, гораздо лучших, чем я».

Признание знаменательное, и во второй своей части даже более интересное, чем в первой. То есть поэт, осознающий, что эпоха вознесла его на гребень, понимает, что он как поэт — «не

лучший». Чтобы решить, так это или не так, надо прежде договориться, что такое в поэзии — «лучший». Если речь идет об отборе строчек, о технической взыскательности и о безукоризненности вкуса, то Евтушенко действительно уступает «лучшим» своим соратникам. Но самое поразительное: он это знает, он на это идет сознательно, он на это осознанно запрограммирован. В конце концов, вопрос об отборе «лучших» решается почти арифметически: из 25 тысяч строк отбирается 700. Остается вопрос: сохранит ли отображенное печать всеподлинности или будет дистиллировано? Фет, как техник стиха, «хуже» Майкова или Полонского... Но, видимо, техника стиха — еще не все в поэзии, которая есть явление духа, явление жизни, «явление природы», наконец. И евтушенковское «дурновкусие» оказывается такой же неотъемлемой чертой его бытия, как и его подмывающее обаяние. Стало быть, начинать надо не с того, хороши или плохи строчки и нет ли поэтов «лучше», а с того, какая личность выявляется в этих, и только этих строчках, с того, какая тут заложена судьба, и, наконец, с того, зачем и чем эта судьба заложена.

Ситуацией?

Да, всемирно-исторической ситуацией. Состоянием мира, который располосован только что пронесшейся мировой войной, а точнее, двумя мировыми войнами, между которыми была такая «передышка», что хуже войн. Страна, избежавшая гибели, лежит ощетиненная, она боится поверить в то, что драки уже нет. Когда *румяный комсомольский вождь*, повторяя седовласого советского классика, говорит, что на переднем крае надо ставить пулеметы, а не ресторанные столики, он действительно отражает тогдашнее состояние умов и душ. Какие там столики, до них еще далеко! А речь о том, чтобы не гробить парламентаров! Но и не допустить братания!

В глубине души-то они уже готовы и к братанию, недавние смертельные противники. Но страх сковывает. Страх своих же! Страна действительно ощетинена — пулеметами, пушками, ракетами. Души скручены страхом и ненавистью. Кто решится в этой ситуации выйти перед строем с белым платочком, не рискуя, что его прошьют пулями!

Крутой правдолюбец, который вострубит «Жить не по лжи!» и проклянет колючую проволоку? Нет, он не высунется до 1962 года! Ему головы не дадут поднять, рта раскрыть!

Может, вчерашний школяр разжалобит сердца, грустный солдатик с печальной песенкой на устах? Да его прибьют как дезертира! И он до 1960 года не рискнет запеть.

И вот за десять лет до этих первоапостолов разоружения, еще при жизни безжалостного Генералиссимуса, в мертвой зоне ничейного пространства показывается фигура пронзительно голосащего мальчишки.

«Граждане, послушайте меня!..»

Он идет расслабленной походочкой огольца из Марьиной Рощи. На его острых скуках то ли сибирский румянец, то ли нервик, цветущий красными пятнами. У него длинный, любопытный, буратинистый нос и доверчивые, заглядывающие в самую душу глаза. В его песенке нет ничего ни от трубного гласа, ни от похоронного плача. Но — такая шарманочная простота и такая детская, безоглядная, обезоруживающая, искренняя любовь КО ВСЕМУ НА СВЕТЕ, что ни у ко-

го (ни у кого на свете!) духу не хватает взять это непонятное явление природы на мушку.

Потому что это явление — не только порождение ситуации, оно — знак выхода из ситуации.

«Мы исходим из происходящего».

Первая книжка Евтушенко, вышедшая в 1952 году — «Разведчики грядущего». Он много каялся впоследствии за ее наивность, советскость и прочее. Зря каялся: главное-то уже в той книжке нащупано, сразу.

Он действительно разведчик. Мальчишка-разведчик (недаром же задал Андрею Тарковскому портретный канон для будущего «Иванова детства»). Лазутчик в грядущее.

В грядущем: потепление и заморозки, иллюзии и предательства, опьянение свободой и унижение державы, гром побед и немота банкротств, триумф и бессилие.

И он — всему этому разведчик, всему верящий, все подхватывающий, от всего болеющий, но все пробующий, искусный, как уличный жонглер, и естественный, как сама природа.

Он ничего не пропускает и до всего добирается первым.

В перечне свобод, за которые он борется вместе с поэтами его поколения (эти свободы он неоднократно перечисляет в перечнях: свобода от цензуры, свобода от бюрократов, свобода от очередей, свобода любить, как любитесь, и т. д.), на первом месте неизменно стоит у него — свобода ездить куда вздумается...

А про ГУЛАГ не знал, что ли? Знал отлично: оба деда в лагерях сидели, один там и сгинул. Так почему не взвыл, не поднялся? В голову не пришло... А за свободу выезда сразу поднялся, с первых же звуков! Хочу весь мир увидеть! Не хочу знать никаких границ!

Впоследствии все это дало отечественным насмешникам повод увидеть в Евтушенко вечного международного туриста, а зарубежным — «коммивояжера молодой злости» (юмором родные старики прикрывали тревогу, а злостью сердитые юнцы отрешивались от завещанной Маяковским собственной советской гордости).

Злости у Евтушенко не было (и нет), а вот действительная жажда увидеть весь мир — была (и есть). И коллекционирование посещенных стран — факт (94 страны — подсчитал же!). Толь-

ко это — не туристский азарт, это — врожденное ощущение, что мир — твой. Изначально. И значит, всякое препятствие братанию с миром есть вопиющее насилие над природой личности!

Он уверен, что все, чего у него почему-то нет, у него украли, отобрали! Его тяга к экспроприации в ответ на обделенность — это же вывернутое наизнанку всеобладание! Назвать собрание своих стихов — «Краденые яблоки»: это надо же! Он не вынес бы, если бы у него впрямь отняли бы хоть что-то из присвоенного им изначально целого мира! Все нужно, все дорого! Прежде чем прогреметь на весь мир, он еще в 1955 году предупредил: *«Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка!»* И прежде чем заявить о своих межконтинентальных аппетитах, он просмаковал заплеванный шелухой от семечек подмосковный перрон и слушал упоенно паровозные гудки под пластинку «Самара-городок» Розы Баглановой. И обследовав *«туфли из Гавра, бюстгальтер из Дувра»*, немедленно вернулся встретить *«рассвет над Леной»* и выяснить попутно, что крановщик Сысоев грузит на баржу *«контейнеры с лиловыми*

кальсонами и черными трусами до колен». И, как его там, «Черновицы или Чернобцы»... и «вы выбираете вишни и спрашиваете у торговки, почему у них огурцы...» Ненасытен. Неукротим. Неуемнен.

Между прочим, именно эта неуемная жажда подробностей, это гурманское перебирание впечатлений («раблезианское» — сказал он о себе сам), наверное, и помешало Евтушенко как поэту стать «лучше». У него всегда перебор материала. Не может остановиться. Но — какая энергия, какая магия присвоения!

Этой энергии, кстати, хватило еще и на то, чтобы сделаться попутно киноактером, кинорежиссером и фотохудожником. Я уже не говорю о литературных жанрах: публицистике и прозе, где подробности идут потоком, — художественная структура проседает под их напором!

Тут, кстати, и ответ на вопрос: почему именно как поэт Евтушенко осуществился конгениально своей одаренности, и почему настоящим прозаиком не помогли ему стать ни всемирная слава поэта, ни опыт мастера-стихотворца. Стих все-таки по определению вынуждает к экономно-

сти, хотя бы — музыкальной... или он разваливается. Уж это мастер стиха знает. В прозаическую же фразу можно попытаться вогнать все, что попутно схвачено и присвоено... фраза вспухает, заваливается, задыхается от тромбов.

Поэзия же — взмывает над всем этим ранней птахой, весь мир — ее.

Мне мало всех щедростей мира.
Мне мало и ночи, и дня.
Меня ненасытность вскормила,
И жажда вспоила меня.

Подлинная поэзия — не та, которая «о чем-то» стихом рассказывает, а та, которая это «что-то» стихом являет. Евтушенко рассказывает очень много. Но его стих, порожденный захлебывающейся жаждой исповеди, есть свидетельство подлинности и материала, и чувств, переполняющих душу. Да, здесь нет вкуса к «окончательным, исчерпывающим формам», на отсутствие которых когда-то мягко указал Евтушенко Борис Пастернак, пожелав их ему на будущее. Но ведь дюжина евтушенковских строк вошла в русскую речь в ранге пословиц! Да, во-

шла... но не в результате вычеканивания формул как самоцели, а — от переполнения, от того, что идет — через край. *«Поэт в России больше, чем поэт»!* Может, больше, может, меньше, но уж точно — не «совпадает».

У него ничто ни с чем не «совпадает», ничто ни в чем не завершается, а именно — переплещивается. Стих вибрирует от напора эмоций, от столкновения мыслей, от восторга жизни, загадочно-упоительной даже в бедах. Этот стих бывает четок и резок по обводу, но он всегда нежен и туманен в сердцевине. Этот стих силится все вместить, и с особенной энергией — вместить невместимое. В качании ритма, в прелести неточных рифм чувствуется эйфория, легкое опьянение — именно легкое, как от шампанского, то есть не вышибающее тебя из проклятой реальности, а позволяющее как бы парить над нею, сохраняя любопытствующую трезвость.

В широкой перспективе это, конечно, традиционно-русская «всеотзывчивость». Но можно себе представить, на какие углы должна была она наткаться в мире, где все, как на войне, ошетинено и забетонировано.

Его лирическому герою совершенно ведь не важно, что перед ним: целе... или нецелесообразность, труд или праздность, добро или зло, наконец! Это же фантастическое по откровенности разоружение, реабилитация всего подряд! *«Людей неинтересных в мире нет!»* То есть: уравнивать союзников с противниками, друзей с врагами... Да-да, оно самое: он еще и с комсомольским вождем обнимется — с тем самым, которого сначала заклеят! Если пойти по этой дорожке до конца... а Евтушенко во всем хочет дойти до конца, а не «до половины»... так до чего дойдешь? Да ни до чего: взлетишь вольной птахой... Но в этом демонстративном полете так вернуться застывшие неповоротливые понятия, что от них вообще ничего не останется. А все так невинно, так наивно: *«Я на сырой земле лежу в обнимочку с лопатой...»* Разве мать-сыра земля место для подобных забав? С лопатой — что надо делать? Вы только представьте себе, как все это должно звучать в ушах идеологических столпов системы! И еще это нарочито детское, дразняще-наивное и притом невинно «счастливое»: *«Наделили меня богатством, не сказали,*

что делать с ним». Ну, уж и не сказали! Тысячу раз говорили, да еще и кулаком по столу приколочивали! И что делать, объясняли, и как делать. А в ответ что? *«Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее»*. Фраза летит в народ, обрастает толкованиями и живет там, в народе, как хочет, то есть не поймешь, как именно, ибо выброс из нее возможен в любую сторону: и в гражданский порыв, и в антигражданский экстаз, но в любом случае — за пределы ожидаемого.

Очень быстро это раздражающее всех вольное дыханье получает оценку действием. Разумеется, поэта уже не собирались убивать: и времена шли не те, и рука не подымалась на счастливого певуна, пихающего цветы в сопла ракет. Но оплевывали его с таким удовольствием (застрельщиками явились собратья-писатели, не добившиеся тайной свободы, и комсомольские вожди, для которых вольности оказались соблазном), что провоцирование нападок довольно быстро стало для него принципом поведения.

Любая из таких нападок смехотворна и элементарно опровергается. Однако все вместе они абсолютно резонны, потому что поведение Ев-

тушенко-поэта («стихи-поступки») в атмосфере оттаивающей от войны советской боевой лирики — сплошной вызов. И чем дальше от элементарной политики и глубже в лирический интим уходит его душа, тем труднее ее притянуть к ответу и тем безнаказаннее дразнит он всех, кого притом искренне любит.

Да любит ли?

Если боль — такой же дар Божий, как счастье, а зло — такая же захватывающе интересная штука, как добро, если герой плачет и пляшет одновременно, то насчет любви можно предсказать с уверенностью: «любит» в известном смысле — то же самое, что «не любит». Как лепестки ромашки: какой выпадет. *«Для нее любимым не был и был любимым для нее»*. Можно спутать. *«Как по летнему лугу, я по жизни иду»*. Это выдохнуто в 1953-м, когда железный Генералиссимус еще только лег в Мавзолей и чуть не целое десятилетие остается до его выноса!

По летнему лугу — это значит: не по расчерченному тротуару. А по колючкам и кочкам, рытвинам и колдобинам нерасчисленной, природной реальности, полной страстей и соблазнов.

Четыре законных любви подробно описаны в лирике Евтушенко. И — неисчислимое количество незаконных. По прихоти судьбы (и по глупости критики) в памяти литературы торчит занозой одно стихотворение — «*А что потом?*» — за которым тянется шлейф обвинений чуть не в порнографии. До каких же комплексов надо было домучиться, чтобы в строке «*Постель была расстелена*» усмотреть разгул! Теперь-то, когда разгул действительно демонстрируется по всем каналам шоу-бизнеса, видно, что в любовной лирике Евтушенко нет, не было и не могло быть ни намека на эротическое любование. Даже в самых «откровенных» стихах.

Почему?

Да потому что при малейшем намеке на разделенное чувство, на счастливое разрешение любовной драмы у него возникает призрак несчастья. А потом само это несчастье, в свою очередь, принимается как счастье. Исполнение желанья — смерть желанья. Горек привкус даже у счастливой любви. По глубинной, потаенной, фатальной закономерности «слияние душ» невозможно.

Навешивая Евтушенко ярлыки аморальности, блюстители нравов, конечно, писали чушь, но звериным чутьем они чуяли, что с общепринятой моралью тут и впрямь не все в порядке. Тут изначально нет культа ЕДИНСТВЕННОЙ избранницы, традиционного для мировой лирики. *«Единственной пристани нет»*. А есть мучительный поиск родной души, которая ускользает.

Он ведь ищет не жену, лирический герой. Он ищет одновременно, в одном лице: жену, сестру, мать, дочь... Иначе говоря, он ищет в женщине воплощение той универсальной, вселенской родственности, которой у него изначально заряжен мир. Но разве такая универсальность может быть удержана в одной фигуре! А если нет, то вернуть их всех! Точно так же, как дальние страны, поэтом еще не посещенные, кажутся ему у него украденными, — украденными кажутся ему все увиденные женщины. Задача: украсть их обратно. *«Когда мы любим, мы неповинны, что жажда лада танцует в горле и все, кто любят, — Гекльберри Финны с усами меда, который сперли»*.

У нас, можно сказать, сперли весь мир, и мы его себе возвращаем. У нас сперли нашу природу.

ду. Сперли — «наше все», и это неохватное «все» преследует нас в каждой примятой травинке, в каждой пойманной радиоволне, в каждой случайной женской улыбке.

Можно назвать это обычной любовью, но иногда, поискав слово, можно воскликнуть в духе того умного американца, который влюбился в Евтушенко на вечере поэзии в студии Петрозаводского телевидения:

«Я люблю тебя больше природы, ибо ты, как природа сама...»

Это адресовано столько же Маше, сколько всей Вселенной, в масштабах которой все загадочно переходит из одного в другое и, как мы уже имели случай убедиться, оказывается больше себя:

«...Я люблю тебя больше свободы — без тебя и свобода — тюрьма...»

Если наложить это признание на самый грандиозный из поэтических афоризмов Евтушенко, подхваченный народом и переделанный так: стакан в России больше, чем стакан, — то все становится предельно логично.

«Что любовь? Это только минута свободы. Потом даже хуже...»

Однако в любовь можно спрятаться. К ней можно прислониться. Ею можно прикрыться. На время. Только на время. Это какое-то Божье наказание: всем существом прижиматься к другому существу и все-таки с отчаянием ощущать, что оно — другое. И любое, встреченное в этом украденном от тебя мире, — все равно будет ДРУГОЕ.

Где же грань,
где граница меж нами двоими? —
лишь кожа твоя и моя.
Так возмись
перепрыгнуть и эту границу
и губы бездонные дай мне до дна.
Так вожмись
кожей в кожу, и станут они как одна.

Не станут. Невозможно стереть «и эту границу». Здесь предел полету. Здесь — глубинная неразрешимость бытийной драмы, учуянной Евтушенко. Обозначена она цепочкой сожженных семейных очагов.

Когда-то критик Бенедикт Сарнов уловил эту мучительную несходимость в строчках о второй пуле, которую надо выпустить в любящего, чтобы убить в его душе еще и душу любимой. Критик